

Труд. — Именно так — моя первая женщина — назвал ее Алексей Максимович. Это произошло в рассказе «О первой любви», которым Стефан Цвейг, сам мастер любовной новеллы, был буквально потрясен. (Он употребил именно это слово: потрясен.) О чем и написал автору. «Ваша непосредственность является для меня единственной: даже у Толстого не было такой естественности повествования».

Рассказ выдержан в элегическом тоне, но по-другому, наверное, и нельзя было, поскольку, сообщает автор под занавес, «недавно моя первая женщина умерла».

сантиметр вонзилось в тело — из раны обильно потекла кровь.

Тучи между тем продолжали сгущаться — вот-вот хлынет дождь, но влюбленный юноша, «сидя в теплой луже» собственной крови, не отваживался подняться. Она решила, что он обиделся, и ушла одна, «мило покачиваясь на стройных ножках».

Каменская пишет в своих воспоминаниях, что, когда Болеслав уехал по делам в Париж, она не находила себе места от жалости к нему. «Одиноким, далекий, страдающий взял перевес над довольным,

Осенью 1892 года Ольга Юльевна случайно встречает на лондонской улице своего доброго знакомого из Тифлиса, и тот соглашается доставить ее на родину.

«Путь мой от Лондона до Тифлиса это был не путь, а сказочный полет в волшебный край: я по дороге узнала... что Алексей Максимович в Тифлисе».

А Алексей Максимович — как он воспринял ее внезапное появление? О, с Алексеем Максимовичем случился конфуз. Услышав, что возлюбленная здесь, в одном с ним городе, и рада видеть его, он, «двад-

ном браке и не состояли, кумир их обоих, вдруг услышал внутри себя некие странные звуки. «Я стал замечать, в душе у меня что-то злое еще поскрипывает и — все звучнее, заметней».

Скоро понял: это уходит чувств...

Герои рассказа «О первой любви» расстаются на удивление спокойно. Просто «оба немножко и молча погрузили, крепко обняв друг друга, и я уехал из города, а вскоре уехала и она, поступив на сцену».

Каменская, обычно весьма об-

«В ОТВЕТ ОН КРЕПКО СЖАЛ МОИ ПАЛЬЦЫ»

ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА ГОРЬКОГО. ПОСЛЕ ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ РАЗЛУКИ ПИСАТЕЛЬ ВНОВЬ ВСТРЕТИЛ ЕЕ

Горький ошибался. Ибо в 1922 году, когда на чужбине писался рассказ, замечательная женщина эта пребывала в добром здравии. Настолько добром, что, будучи старше своего знаменитого друга на десять без малого лет, пережила его на целых три года.

Впрочем, она пережила всех своих мужей — как официального, фамилию которого носила до самой смерти: Каменская (Ольга Юльевна Каменская), так и неофициальных, коих было два.

Горький в этот удивительный триумvirат вошел последним. Случилось это летом 1889 года, когда будущая мировая знаменитость торговала на улицах Нижнего Новгорода квасом.

«В широкополой шляпе, в белой куртке и высоких сапогах за колена он представлял из себя довольно оригинальную и забавную фигуру», — вспоминала Ольга Юльевна, и портрет этот полностью соответствует автопортрету, который набросал писатель в рассказе «О первой любви».

«На мне были синие шаровары городского, а вместо рубашки я носил белую куртку повара; это очень практичная вещь: она ловко играет роль пиджака и, застегиваясь на крючки до горла, не требует рубашки».

Но дальше начинаются противоречия. Если Каменская говорит о своем втором муже (а она тогда жила со вторым) весьма уважительно: «Очень хозяйственный, очень ласковый, добродушный человек, веселого уживчивого нрава», то юный продавец кваса, всю ночь проаташавшись после знакомства с Ольгой Юльевной по полю, пришел на рассвете к выводу, «что эта маленькая дама — совершенно неподходящая супруга для бородастого увальня с добрыми глазами сытого кота. Мне даже жалко стало ее — бедная! Жить с человеком, у которого в бороде прячутся хлебные крошки».

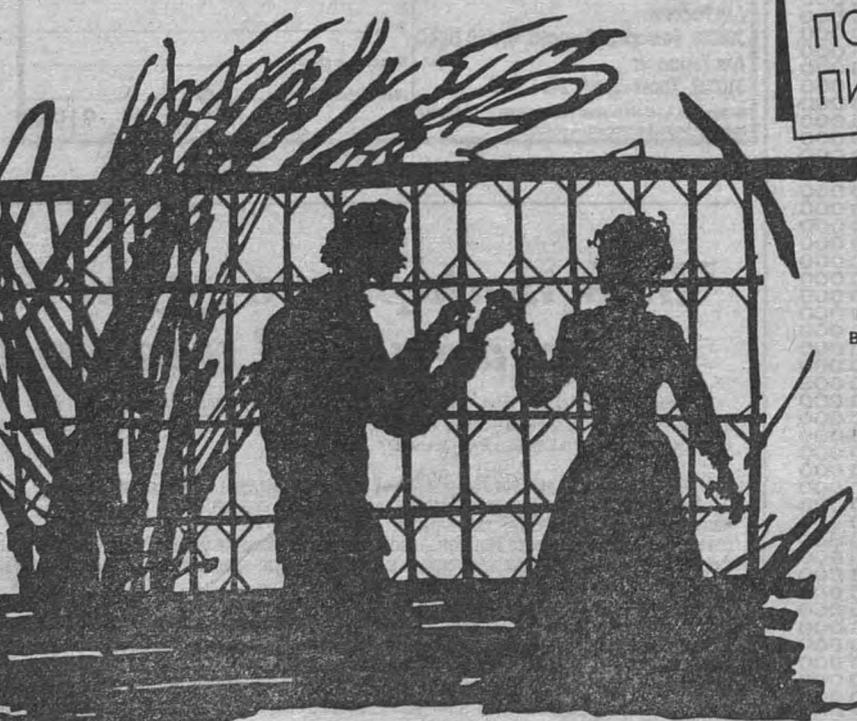
Бородатому увальню уделено всего несколько строк, зато «маленькая дама» описана подробно и с нескрываемым восхищением.

«Нижняя губа маленького рта ее была толще верхней, точно припухла; густые волосы каштанового цвета коротко обрезаны и лежат на голове пышной шапкой, осыпая локонами розовые уши и нежно-румяные девичьи щеки... Но самое замечательное в ней — ее синеватые глаза; они лучатся так весело, ласково, с таким дружеским любопытством».

Муж, хоть и с крошками в бороде, оказался и впрямь существом добродушным: когда на другой день вся компания каталась «по мутной Оке», он сел не в ту лодку, где устроилась супруга и где в качестве гребца был их новый знакомый, продавец кваса, а — в другую.

Лодка с продавцом кваса прибыла на заранее облюбованное место пикника первой: что-то, а физической силы молодому гребцу не занимать было...

«Я чувствовал себя в состоянии опрокинуть любую колокольню города и сообщил даме, что могу нести ее на руках до города — семь верст. Она тихонько засмеялась, обласкав меня взглядом, весь день передо мной сияли ее глаза, и,



конечно, я убедился, что они сияют только для меня».

Но был еще все-таки муж, «второй» муж, Болеслав, который на том достопамятном пикнике «выпил кринку превосходного молока, лег под куст и вплоть до вечера спал спокойным сном ребенка», была «девочка, изящная фарфоровая куколочка с чудесными глазами», дочь от первого мужа, агронома Фомы Фомича, да и сам Фома Фомич, хоть он и не упоминается в рассказе, продолжал существовать и еще, придет час, даст знать о себе.

Выдувающий по кринке молока зараз Болеслав безмятежно подремывал себе — это, видимо, было обычное его состояние, но однажды открыл-таки глаза, увидел, что жена его обнимает другого, и закатил сцену. По-бабьи, со слезами — теперь уже не хлебные крошки, а слезы застревают в бороде.

Мягкое сердце Ольги Юльевны дрогнуло. С одной стороны — юный Геркулес, жилистый и крепкий, а с другой — рыхлый толстячок. Или — или... Словом, откладывать дальше было некуда, требовалось сделать выбор. И она его сделала.

«Деловито, серыми словами, женщина говорила о разнице наших лет, о том, что мне нужно учиться и что преждевременно для меня вешать на шею себе жену с ребенком. Все это было угнетающе верно, говорилося тоном матери и еще более возбуждало любовь, уважение к милой женщине. Мне было грустно и сладко слушать ее голос, нежные ее слова — впервые со мной говорили так».

Сие решающее объяснение состоялось на краю оврага, под низким, грозящим дождем небом. На молодом человеке были все те же синие шаровары, явно великоватые ему, а потому схваченные большой медной булавкой. От неосторожного движения булавка расстегнулась, и острие на целый

счастливым, оставшимся тут, возле меня. Над письмами из Парижа, полными тоски, я плакала».

В конце концов в июне 1890 года — минул ровно год после того лирического пикника — Ольга Юльевна отправилась к своему Болеславу.

А возлюбленный? Возлюбленный галантно и обреченно проводил ее на вокзал.

«По дороге мы тягостно молчали. Он пробовал шутить, но обрывал шутку на полуслове, и мы снова тяжело молчали».

Прощаясь, Горький (который тогда еще Горьким не был), строго-настрою запретил ей писать. «Разрыв — так разрыв навсегда».

«Это было сказано так, — вспоминала Ольга Юльевна, — что мне пришлось подчиниться, и, действительно, я ему ни разу не написала из-за границы».

За два-то с лишним года!

А собственно, куда было писать? Некуда... У бывшего нижегородского цехового не существовало с некоторых пор адреса. Ибо не существовало постоянного местожительства.

«Полубольной, в состоянии, близком безумию, я ушел из города и почти два года шатался по дорогам России».

Он шатался по дорогам России, а она — по дорогам Европы: Париж, Лондон, Вена, прославленные картинные галереи, встречи с художниками, уроки живописи, которые очень скоро принесли плоды: картины Ольги Каменской и выставались, и покупались.

Тем не менее ей было нехорошо, тревожно, то и дело сдавали нервы. То была, понимала Ольга Юльевна, тоска «по любимому человеку, о котором я ничего не знала и не могла узнать».

А как же Болеслав? С Болеславом отношения к тому времени разладились совершенно.

цатитрехлетний крепкий юноша, в первый раз упал в обморок».

Это не ее слова, это он сам о себе пишет...

Встреча состоялась, когда над Тифлисом бушевала гроза.

«Мне показалось, что она еще красивей и милее, все та же фигура девушки, тот же нежный румянец щек и ласковое сияние васильковых глаз».

С нею, разумеется, была дочка, та самая «изящная фарфоровая куколочка с чудесными глазами», — испугавшись раскатов, она спряталась под одеяло, а они «стояли у окна, ослепляемые взрывами неба, и говорили — почему-то шепотом».

Она спросила, чуть насмешливо, пожалуй, — излечился ли он от любви к ней. И услышала в ответ твердое: нет!

На другой день он послал ей стихи, в которых предлагал возлюбленной взять «веселого раба», то бишь себя. Она ответила не сразу. При встрече засмеялась тихонько, отошла в другой угол комнаты, и вскоре оттуда донеслось: «Сделаем так: вы уезжайте в Нижний, а я останусь здесь, подумаю и напишу вам».

Написала ли она, нет ли — осталось тайной, но, судя по тому, что уже через несколько недель все трое — он, она и девочка — поселились вместе, предложение взять «веселого раба» было принято.

На первых порах молодых приютил один нижегородский адвокат, у которого начинающий беллетрист исполнял за двадцать пять целковых обязанности письмоводителя, а потом сняли старую баню в поповском доме. Два рубля стоило все удовольствие...

«Я поселился в предбаннике, а супруга (для него она была супругой. — Р.К.) — в самой бане, которая служила и гостиной. Особнячок был не совсем пригоден для семейной жизни, он промерззал в углах и по лазам».

И все же это было хорошо, счастливое времячко — «изящная фарфоровая куколочка с чудесными глазами» всю свою жизнь (а прожила она без малого сто лет) вспоминала о нем с восторгом и благодарностью. С благодарностью к человеку, который водил ее в цирк, покупал птиц, тотчас же выпускаемых на волю, катал ее, получив гонорар, по городу.

И вдруг все изменилось. «В тишине, наступившей теперь, было недоброе. Старалась понять еще недоступное мне и тревожилась, стремилась узнать, что случилось, и не решалась спросить».

А случилось то, что друг матери, муж матери, хоть в официаль-

стоятельная, о разрыве тоже пишет скупо — ни одной, по сути дела, подробности. Вот разве что упоминает, как однажды, когда они с дочерью жили уже отдельно, Алексей Максимович навесил их. «Моя девочка была больна. Он принес ей пирожного и бутылку красного вина. Посидел у нее постели с полчаса и ушел».

Так закончилась эта любовь... во всяком случае, так написан заключительный аккорд обоими действующими лицами — никаких слез, никаких истерик.

Но было ведь еще одно действующее лицо — «фарфоровая куколочка с чудесными глазами». Глаза эти оказались весьма наблюдательными; они все видели, все замечали и потому стремительно взросли. Теперь уже это были не глаза ребенка, а глаза маленькой, все — или почти все — понимающей женщины.

Кое-что все-таки оставалось неясным, и однажды, набравшись духу, она осторожно задала матери вопрос.

Ответа не последовало. Вместо ответа закапали слезы.

«Она плакала, а я держала ее крепко за руку и молча, минута за минутой переживала с ней вместе все, о чем она плакала. В этот час мы хоронили вместе, она — свою любовь, я — детство».

Больше, стало быть, неясностей не оставалось. Прошлая жизнь оборвалась — дочь поняла это по слезам матери, «поняла по поведению Алексея Максимовича. И не по поведению даже, а по чему-то, явственно исходившему не только от его лица, сумрачного и недовольного, но даже от каждой складки его одежды, которая вдруг стала кричать: я вам чужой!»

Прошло еще немного времени, и он уехал в Самару, где через год женился на выпускнице гимназии золотой медалистке Екатерине Волжиной. Прожили недолго, но на всю жизнь остались добрыми друзьями. Бывший муж часто навещал Екатерину Павловну и даже, случалось, останавливался у нее. Так было и в 1929 году, когда Горький вернулся из Сорренто.

Именно здесь его вновь увидела после тридцатилетней разлуки Ольга Юльевна.

«Передо мной сидел старик с густыми опущенными седыми усами; волосы на голове стояли ежиком; на нем был пиджак, воротничок и галстук — ничего похожего на моего нижегородского Алексея с блузой и длинными волосами».

Вот только глаза оставались такими же синими и молодыми, о чем она и сказала ему с улыбкой.

«В ответ он крепко сжал мои пальцы».

Руслан КИРЕЕВ. Художник Мария ПАТРУШЕВА.